

# Доброволец и фанатик

К девяностолетию Сэмюэла Беккета (1906—1989)

Ив Бонфуа

## Лодочка Сэмюэла Беккета

Остров совсем рядом — ровная, с несколькими деревцами, поверхность, низкую линию которой скрадывает нависшая над морем дымка. Незнакомец — он добродушный и хочет нас отвезти, а больше мы о нем ничего не знаем — предлагает свою лодку. Трогаемся. Льет, и путь через пролив, под сводом совершенно черных местами теней, походит на какую-то пробойну в окружающем, сон из иного мира и разве что на самую крупницу мира нашего — так, слабый луч в гуще темноты. Однако через несколько минут мы утыкаемся в пристань. Три-четыре залитые водой каменные ступени, край причала, два домика и в одном из них свет: запертый кабачок, а при нем — жилище того, кто его держит и временами, по воскресеньям, отпирает, когда крестьянам с другого острова, откуда нас доставили, приходит в голову забраться еще западней. Но мы к домам не идем, а сворачиваем по берегу вправо. Под ногами раскиная дорога или скорей бездорожье, ланды, то и дело обрывающиеся промоинами, через которые — если вокруг не натянута стальная проволока — приходится с трудом перешагивать. Куда мы движемся, я не знаю, почти не улавливая слов сквозь жесткий и дивный акцент голоса рядом, говорящего на другом языке. Может быть, к воздвигнутому над морем каменному кресту кельтской эпохи либо просто на другой берег, куда, наконец, доходим. Перед нами обрыв, огромные ярко-зеленые волны, и тут дождь кончается или становится тише.

Минуту мы стоим на краю острова. Любуемся морем, оглядываемся на дорогу, которой шли, несколько раз — то из-за рытвин, то неизвестно почему — с нее сворачивая: это простая, петляющая в редкой траве и кое-где обнесенная каменными стенами тропинка. Потом, по другой тропе, пошрире, отправляемся вдоль берега. Проводник — мы уже друзья — продолжает говорить, и теперь я понимаю его куда лучше: то ли море улеглось, то ли дорога легче, то ли в мыслях у него совсем другое. Так или иначе, за деревом открывается — третий на этом острове — дом. Океан — под самым боком, а тут — палисадник, и видно, что когда-то были свои помидоры, салат, петрушка и, конечно, притулившийся под валуном цветничок. «Здесь, — объясняет моряк (он — моряк и, по его словам, каждый год обходит с грузом полсевета), — одна старуха жила. В детстве учила меня грамоте. Я потом — много лет — сколько ни проходил тут ночью, всякий раз к ней стучался. Постучишь хоть в полночь, хоть в два часа, хоть в три или на заре, а она не спит, всегда одета, на ногах или в кресле у огня, улыбнется мне, нальет чаю и давай рассказывать. Рассказов у нее было хоть отбавляй».

«Умерла она», — добавил вспоминавший и умолк, как будто услышал чей-то голос. Сделав круг, мы добираемся до поселка, все тех же двух домов, он упрощает нас обязательно заглянуть в кабачок, стучит в дверь напротив, появляются молодая женщина, ребенок, он несет ключ, тычет в скважину. Входим, темно, он зажигает лампу. Столы вдоль стен, обычная стойка с бутылками, наверняка пустыми. Голые, обшарпанные полы, как будто на них тысячи раз плясали в старые годы, теперь невозвратные, как отступившая от берега вода. И то, ради чего он нас привел: фотографии на стенах, — рассказ о прежних жителях, о мало-помалу рассеявшейся, исчезнувшей общине двух островов. Мужчины и женщины, скраденные другой дымкой — дымкой фотобумаги, блеклой, как метафора рано или поздно стирающейся памяти. Некоторые смотрят на нас, смотрят с упреком, но, кажется, наполювину отсутствуют, словно отвлечены чем-то более далеким — видом или знанием, нам уже недоступным. Ирландия сороковых-пятидесятых годов, загадочная, как корабль в непогоду, ищущий пристань.

«А вот на этого посмотрите! — после долгого молчания восклицает ка-

Фотографии — из книги Эойна О'Брайена «Беккетова земля: Ирландия Сэмюэла Беккета» (Дублин, 1986).



питан, указывая на снимок прямого, костистого старика, окаменевшего у воды с трубкой в руке. — Ну он и пил! Уходит за амарами на несколько дней, один в своей лодчонке, а сам уже навеселе да еще про запас виски набрал, где за корзину бутылку сунет, где промез сетей! Но в какую он погоду ни отплывал, всегда возвращался — видно, Божья рука хранила».

Я смотрю на прекрасное, напоминающее Сэмюэла Беккета лицо, и забываю про выпивку, в конце концов лишь одну из разновидностей вездесущего и вечного письма — этого движения человеческой рукой в поисках Божьей, — и думаю о писателе: он тоже скользит среди теней и теряется, и тонет под черным наплывом дождя или тумана, сквозь который то здесь, то там и еще вот тут все-таки маячит пятно желтого солнца. Беккет, говорю я себе, писал так же, как этот старик плывал: один в целом море. Он так же проводил долгие дни и ночи под здешними тучами, которые сшибаются, громоздят свои замки, утесы, драконов, изрыгающих по краям, из расселин, пламя, и вдруг расходятся, пробивается луч, к трем часам пополудни настает просвет, spell of light, — и время бежит навстречу скорому вечеру, и мир — словно золото в мягких ямках морской зыби. Беккет и теперь в своей лодочке, порой, кажется, все еще различимой там, где заходящее солнце ерошит океанский гребень. И все сказанное им в книгах доходит до нас сквозь ровный гул валов или пересыпающуюся дробь дождя.

(из книги «Странствующая жизнь», 1993)

## Эмиль Мишель Чоран

### Встречи с Беккетом

Тот, кто хочет разгадать Беккет и о ро д н о г о человека, как Беккет, должен почувствовать, сколько весят слова «оставаться в стороне», этот немой девиз каждой его минуты, — все тающееся за нами одиночество, вся подспудная одержимость, сама суть обособленной жизни, поглощенной трудом, безжалостным и бесконечным. Об ищем просветления буддисты говорят, что от него требуется упорство «мыши, грызущей гроб». Любимый достояний своего имени писатель живет такой сосредоточенностью. Он — из породы разрушителей, которые п р и у м н о ж а ю т существование, наращивают его путем подрыва.

«Отпущенное нам время слишком коротко, чтобы тратить его на других». Слова поэта подойдут каждому, кто отверг внешнее, случайное, чужое. Беккет, или Несравненное искусство быть собой. И при этом ни малейшей спеси, никакого неразлучного с сознанием своей избранности клейма. Если б слова о б х о д и т е л ь н о с т ь не существовало, его надо было бы выдумать для Беккета. Факт невероятный, почти сверхъестественный: он никогда ни о ком не говорит плохо, не дорожит гигиеническими функциями злословия, его лечебными свойствами, ролью отдушны. Я ни разу не слышал, чтобы он перемывал косточки друзьям или врагам. Это его превосходство вызывает жалость, бессознательно он должен из-за него страдать. Не будь за плечом злопыхателей, я бы сказал: сколько тревог и невзгод, сколько трудностей он себе готовит!

Он живет не во времени, а параллельно. Оттого мне и в голову никогда не приходило спрашивать, что он думает о случившемся. Он из тех, кто наводит на мысль: история — это измерение, без которого человек вполне может обходиться.

Будь Беккет похож на своих героев и ничего не добейся, он остался бы ровно тем же. У него вид человека, который не озабочен самоутверждением и которому одинаково чужда идея что победы, что краха. «До чего же трудно его понять! И какого он масштаба!» — говорил я себе всякий раз, думая о нем. Произойди невероятное и не окажись в нем никаких тайн, он и тогда был бы для меня воплощенной Непостижимостью...

...Кто еще так любит слова? Они — его спутники, единственная его поддержка. Он не может похвастать уверенностью ни в чем и только среди них чувствует себя на твердой почве. Приступы отчаяния приходятся у него как раз на те минуты, когда он перестает доверять словам, думает, что они его предали, бросили. Без них он как без рук, его больше нет. Я жалею, что не отметил и не пересчитал у него все пассажи, где он ссылается на слова, склоняется над словами — «каплями молчания сквозь молчание», как сказано по этому поводу в «Безмянном». Символами хрупкости, ставшими несокрушимой опорой...

Всю жизнь любя бродить по кладбищам и зная, что Беккет к ним тоже равнодушен («Первая любовь», если кто помнит, начинается описанием кладбища, замечу в скобках — гамбургского), прошлой зимой на проспекте Обсерватории я заговорил с ним о недавней прогулке по Пер-Лашез и своем возмущении из-за того, что в перечне похороненных там «знаменитых людей» не обнаружил Пруста. (Беккета я, между прочим, открыл для себя тридцать лет назад, натолкнувшись в Американской библиотеке на его книжечку о Прусте.) Не помню, почему мы перескочили на Свифта, — впрочем, если подумать, то ничего странного тут, утя его похоронные шутки, не было. Беккет сказал, что как раз перечитывает «Путешествия» и предпочитает «Страну гуингнмов», а особенно — ту сцену, где Гулливер выходит из себя от ужаса и омерзения, когда к нему приближается самка йеху. Джойс, — сообщил он, и это меня крайне удивило, даже разочаровало, — не любил Свифта. Вопреки всему, что принято думать, — добавил он, — у Джойса вообще не было ни малейшей склонности к сатире. «Он никогда не был бунтарем, жил наблюдателем, принимал мир как есть. Для него у п а в ш и я с д е р е в а л и с т о к з н а ч и л н е м е н ь ш е , ч е м у п а в ш а я б о м б а»...

С первой нашей встречи я понял, что он — у с а м о г о края, что, скорей всего, он оттуда и шел: от невозможного, немислимого, безнадежного. Поразительно, что при этом он не д в и г а л с я с м е с т а и, разом упершись в стену, со всегдашним присутствием духа продолжал стоять на своем: предел как о т п р а в н а я т о ч к а, конец как прибытие! Отсюда, из укрупненной келье, агонизирующий мир может длиться до бесконечности, тогда как наш гот в любую минуту исчезнуть.

Я не большой поклонник философии Витгенштейна, но как человек он меня бесконечно привлекает. Все, что я про него читаю, как-то странно трогает. И я не раз находил у них с Беккетом общие черты. Две таинственные фигуры, два явления, тем и притягательных, что сбивают с толку, ставят в тупик. В обоих та же отстраненность от людей и вещей, та же верность себе, та же тяга к молчанию, к окончательному отказу от слова, то же стремление во всем доходить до неведомой черты. В иную эпоху они бы ушли в пустыньники. Теперь-то мы знаем, что Витгенштейн одно время думал затвориться в монастыре. А что до Беккета, то его нетрудно представить несколько веков назад в голой, ничем — даже распятием — не украшенной келье. Я заговариваюсь? А вы вспомните его нездешний, загадочный, н е ч е л о в е ч е с к и й взгляд на некоторых фотографиях.

Происхождение значит немало, спору нет. Но решающий шаг навстречу себе мы делаем, когда остаемся без каких бы то ни было к о р н е й и подробностей у нас в биографии не больше, чем у Господа Бога... Беккет — ирландец. Это крайне важно — и абсолютно несущественно...

Доброволец и фанатик, вот кто он такой. Даже если будет рушиться мир, он не оторвется от работы и ничего в ней не изменит. В главном он совершенно не поддается воздействиям. А в остальном, в мелочах, он, вероятно, еще слабей, чем все мы, чем его герои... Садясь за эти заметки, я собирался перечитать то, что Майстер Экхарт и Ницше — каждый со своей стороны — писали о «благородном человеке». Замысел я не исполнил, но не забывал о нем ни на минуту.

(фрагменты книги «Попытки восхищения», 1986)

Перевел с французского Борис ДУБИН